

18+

Роман Валерия Радомского

Я - душа СТАНИСЛАФ!



книга третья

Валерий Радомский

Я – душа Станислаф!

Книга третья

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50762726

ISBN 9785449820068

Аннотация

Земное время – по-прежнему смерть, а земное пространство – по-прежнему кладбище. И выходит на то, что Человек – земной БОГ – обманут временем и как младенца его до сих пор спеленало пространство. Выходит, что из земного времени нужно, как можно быстрее, выбраться, а из пространства – как можно дальше.

Содержание

| | |
|--------------------------------------|----|
| КНИГА ТРЕТЬЯ | 5 |
| Глава первая. Голос из сна | 6 |
| Глава вторая. Пожар от огня в сердце | 40 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 47 |

Я – душа Станислаф!

Книга третья

Валерий Радомский

© Валерий Радомский, 2020

ISBN 978-5-4498-2006-8 (т. 3)

ISBN 978-5-4496-1634-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая. Голос из сна

От прожитых лет, а Михаилу последняя декада июля отсчитала шестьдесят семь, и от работы руками, в основном, да к тому же в собачий холод Сибири, пальцы загребели так, что ими можно было соскрести щетину. А с длинными ногтями – до крови, как от прорезов опасной бритвой. В юности он, подражая отцу-фронтовику, пробовал такой походить на зрелого мужчину – вот и запомнил, как сталь режет. Сейчас же вспомнил о небритых скулах – давно перестал бриться по утрам и даже через день. Таким, обычно для своих лет щетинистым, притопап сегодня в контору, и хорошо, что свою «Нивушку» не отогнал вчера домой – как чувствовал, что нужна будет ему в полдень: Валера Радомский позвонил – встречай! Как же не встретить, Валерку-то, ждал ведь его со дня на день, узнать бы только после сорока пяти лет – да, где-то столько не виделись.

...Узнал сразу: всё такой же худой, носатый и громкий. Правда, узнал по голосу – не видя даже, как внешне года изменили армейского дружка, и подхватил его, худого и носатого, как только тот взялся за поручни, чтоб сойти ступенями. Да так, в охапке с ним, и отошёл от вагона, чувствуя лицом и слыша, как колотится сердце такого же, как и сам Михаил, постаревшего танкиста... Валерка показался лёгким, как пушинка, да не от радости встречи его безудержные слё-

зы обожгли Михаилу размякшие от волнения щёки, как выяснилось после долгих-долгих объятий. И громкий он был для случайных ему людей – у каждого свой подол несчастий, да узелок из них не раздаришь никому и не передашь, если бы и захотел. Радость от встречи была, конечно – была, как не быть крикливому смеху и орущему восторгу даже, и никуда она не делась, вот только, как неожиданно вдруг открылось Михаилу, в радости нет того, что, ой, как нужно ей, безудержной, чтобы не затолкать, не заболтать, не перекричать несчастье в ком-то. Что вскипело в Валерке слезами, а ни дорога, далёкая-далекая, ни ранее остановившееся для него время в пути этих кипящих страданиями слёз даже не расплескала. Может, так и должно: слезы тушат радость, чтобы не обжечь сердце беспечностью, непростительной или излишней? Ни своё сердце, ни чьё-либо. Может, и так!

Мысли – галопом, а не признайся Валерка сразу, что недавно похоронил сына, подумал бы о другом: узнаю Радомского – приводит с собой и настроение, причём самое разное, а уж мысли, ...мысли – наперегонки одна с другой. Будто он – пронизывающий ветер, а твои чувства – листва, мыслями этими в тебе гулко шелестит. Хотя и сам Михаил не затерялся в его памяти и не отмолчался в воспоминаниях: двоих людей дал себе Валекрка слово разыскать. Двоюродного брата, по отцу, и самого Михаила. Всего-то двоих, и это после прожитых им шестидесяти шести лет. Выходит, что оба почему-то и зачем-то нужны друг другу. Да как-то осто-

рожно он обмолвился о двоюродном брате, Владимире, а нашёлся тот в Луцке – слова о нём будто бы подбирал на чём-то зыбком, как песок, и то, что озвучивал, выдыхал из себя не без сожаления. Словно не радость родства нашёл, а суровой печалью это кровное родство плескануло в глаза после искренних и долгих братских объятий...

От полустанка Долино до Кедр – пятьдесят с гаком... Дрожь в руках Михаила не унималась и не от дороги, накатанной и прямой. «Нивушке» эта дорога нравилась, а Валерке – в охотку всё кругом рассмотреть. Заодно, говорил, забываясь понемногу, что никогда до этого не видел живую тайгу. Слово «живая» сбило ему дыхание – ещё бы! Хотелось спросить у него, как звали сына, да как захотелось, так и перехотелось. Дочь от первого и единственного брака – Нелей назвал, именем утонувший на Короленовских (г. Горловка) прудах старшей сестры. Ему тогда только-только исполнилось четырнадцать, а сестре – пятнадцать. Михаил вспомнил: да, ещё в армии он говорил ему о том, что ...будет дочь – назовёт Нелей. Пацан сказал – пацан сделал! Тогда – пацан, сейчас рядом с Михаилом сидел Иисус Христос, только и того, что не богочеловек, но распятый в собственной душе калёным горем отец. И это горе выжигало ему сердце. Как сам только что сказал – доживающая свой век птица, только без крыльев: обречённое на страдания живое жалкое существо; а ещё – на один полёт: с обрыва на камни!

Только в Валерке было и сходство с чем-то Михаилом дав-

но забытым. Романтичное что-то, из горячей отважной юности, а что?.. Улыбаясь ему самому и егоговору, подзабытому, да всколыхнувшему в нём такие же подзабытые воспоминания молодости, он не стал предаваться гаданиям на этот счёт. Да и несерьёзно это всё: кто на кого похож, или что-то с чем-то сравнивать. Если и не глупости, то ему, лично, без разницы – так, подумалось, и на то – мозги!

Проезжая Кедами, Михаила понесло ...расхваливать всё, что попадалось на глаза. Даже испарина на лбу от этого выступила. А Николаевичу такое в приятеле явно понравилось – подыграл ему, тараша усталые глаза и гримасничая восторженно, понимая, как же это здорово быть влюблённым в то крошечное земное «моё жизненное пространство». Только Михаил, сияющий довольством в этом густо-зелёном пространстве, в этот раз не заметил лишь похожего блеска в глазах Николаевича – годами ранее, ах, сколько же раз он, воображая, был здесь, у Мишки Чегазова, но – со Станислафом. Правда, ещё не успел сказать об этом, что мечтал познакомить с сыном, а теперь – и незачем.

Передав дорогого гостя супруге Валентине, сухонькой, но с прежними, девичьими, ямочками на щеках, Михаил вернулся на улицу. И снова дрожь в руках – дочь Настеньку слушал по мобильнику и растирал грудину: сердце отдало дрожь рукам, а само щемило тревогой. Слава богу, и Толик отозвался сразу – живой, родной, и обещал приехать. А вот когда – не договорили: и не заметил, как выговорил все ми-

нуты, да с пользой и для здоровья – сердечко-то попустило!

Гостей под вечер на подворье Михаила было много ещё и потому, что пришли все, кого он пригласил. И не столько они, гости, радовали его, восседавшего за столом, бережно обнимая своими лапищами земляка и армейского друга, сколько сам факт: двор немаленький, стол под ивами (наравне с детьми нянчился с плакучими-то, чтоб выросли и прятали, когда надо, в ажурной прохладе) далеко не маленький – сесть уже некуда, а не протолкнуться. Вот и хорошо – Валерке, хочет он этого или не хочет, именно сейчас и нужна добродушная компания. А добродушие к нему – в каждом, это точно, хотя бы потому это так, что о нём знают лишь только то, что – с Донбасса!..

Гости за аппетитно пахнущим столом – уж, хозяйка Валентина постаралась, так постаралась угодить им сибирским разносолами, – расселись всё же быстро. Народ организованный, оттого и враз стихли. Михаил даже встал со своего места, говоря этим о торжественности момента, стал за спину Николаевичу не просто так, сказал коротко и ёмко и, как обычно, тихо: «За нашего теперь друга – Валеру Радомского!». К Николаевичу тут же потянулись десяток рук с рюмками и фужерами, кто не смог этого сделать – подошли и обступили частоколом согласия с тем, что отныне – друзья: с приездом, друг!

...Расходились под рыжей равнодушной Луной. Барчук, узнав от Николаевича, что тот журналист по образованию

и, главное, им работал, попросил его о встрече и разговоре. Михаил догадывался, о чём будет разговор, потому и решил за всех: «Через неделю!». Владлен Валентинович, зевая и извиняясь за сонливость, согласился: через неделю – у него, дома (его отставку с должности председателя поссовета депутаты не приняли). А капитан Волошин, явно напившийся и агрессивный, но в последнее время он с этим зачастил, вызвав в кедрачах растущее пока что изумление, ... капитан желал продолжения банкета – с его же плюющихся на все стороны слов. Игорёша Костромин в знак благодарности своему бригадиру за приглашение, чего он, конечно же не ожидал, вопрошающе искал взгляд Михаила, да тот и в этот раз решил за всех:

– Не гони лошадей, Макар! ...Проводим и вмажем!

Сказав это так, будто и сам ещё не насладился застольем, подтолкнул Волошина к лежаку, что ядрёно пах наваленным на него сеном в нескольких шагах от калитки – посиди, или лучше полежи. Капитан, утонув в разнотравье, смолк.

...Рыжую Луну отыскало одинокое облако – ночь погасила огни, дыша лишь озером и тайгой.

—

Шаману не сиделось на краю утёса, но не полночь и не длительность его пребывания на скалистом прохладном под лапами плато были тому причиной. Ещё засветло ветер принёс мужской голос, одинаково ласковый и строгий. Это

голос из его единственного сна, в котором Шаман – парнишка Станислаф, в бирюзовой воде, что ему до колен, а этот же голос, с берега, просит его не заходить в море далеко: «Станислаф, чтоб я видел тебя – мне так будет спокойнее». Голос густой, любящий и переживающий за «сына», а что это, сын – этот человеческий звук Шаману приятен, как и «Катя». В этих звуках – тепло и уютно, но они же его печалят оттого, что сон не есть явь. Хотя Катя ни разу ещё не приснилась, да если бы мог таёжный волк случившееся с ней сотворить в сон. Не может Шаман этого сделать – правит тайгой, а явь – люди и звери, звери и люди, лишь во сне прячутся от самих себя.

Зверья, птицы, ползучих и ползающих, всяких, добавилось в примыкающей к береговой линии Подковы и со стороны утёса к Кедрам тайге. Словно прознали о новом кесаре, Шамане, и что он запретил людям заходить сюда с ружьями и топорами. А кто его ослушался, уже наказан – ладони им прокусил; такое наказание для взрослого человека – то же самое, что на всю жизнь звенящая в ушах оплеуха юнцу, разорвавшему гнёзда от нечего делать. Охотников отвадил ещё Лис, хотя и сам бежал от кесаря с остатками когда-то солидной стаи, да теперь и кедрачей в тайге не видно. Их лодки и катера от причала артели доплывают лишь до середины озера, только куда бы они не направились далее, по простиранию Подковы вглубь или к утёсу скорби и печали, здоровенная рыбина с костяной длинной мордой следует

за ними. Попробуй только забросить сеть, в мгновение ока перевернёт лодку. По человечьи она, что пограничник в бес-срочном наряде по охране Подковы, но это – если по человечьи. И пальнуть в неё да ещё с нескольких стволов, по команде – тоже по человечьи, и непременно в голову – это даже не оговаривается, только искушение у рыбины закручено в пружину упорства с терпением – не разжать ничем земным.

Хищное зверё сбежалось тоже, и несколько ночей эта часть тайги ликовала, жадностью и ненасытностью, и в то же самое время стонала от боли так, что Шаман стёр до крови лапы и обломав на них чуть ли не все когти, в бесконечных схватках. Ни одного не загрыз насмерть, да мало кому удалось сбежать целёхоньким.

Марта и Лика, находясь поблизости от кесаря, в эти затянувшиеся на несколько дней и ночей звериные разборки не вмешивались. Водой из ручья или озера они лишь запивали то, что пожирали, оттого и держали нейтралитет. А Шаман их не звал даже тогда, когда, погнавшись за росомхой, просмотрел ещё две, затаившиеся в валежнике. Сбросить их с себя не удавалось, как тут – шустро забравшись на сосну, только что убегавшая росомха так же шустро и остервенело с неё кинулась на него сверху. Под весом троих он всё же не устоял и завалился на бок. Только острые камни прочувствовали под собой росомхи, шмякнувшись о них своими распушившимися головами, а главное – Шаман успел в момент падения передними лапами откинуть от себя ту, что

набросилась сверху. Дальше он, встав на лапы, лишь струсил с себя свою же ярость, окропив всё вокруг пенистой кровью, и своей, и росамах – наказан и он, в том числе, за неосмотрительность.

С хозяином тайги, медведем, ещё и колючим от репейников на бурой шерсти, и вовсе пришлось повозиться. Да и не ожидал косолапый, что молодой волк откроет на него пасть – враз кровожадно расвирепел. Только не мог, как не пытался, достать лапой того, кто постоянно оказывался у него за спиной и кусал за задние лапы. А когда чёрный волк неожиданно раздвоился – на чёрного и белого да разбежался к тому же: и спереди длинномордый, белый, и сзади такой же, чёрный, налетает и всаживает клыки в одно и то же место, сел на задние лапы – погрыз их волк, заревел, а в рёве этом рык-то и погас. ...Марта, будто сообразила – запаниковал, дождалась атаки Шамана сзади и сама кинулась вперёд. Медведь в этот момент мотал здоровенной головой из стороны в сторону, выбрасывая вперед передние лапища, и нацелившись и отмахиваясь от двух пар клыков, да Марте это и нужно было, чтобы он продолжал сидеть: как только тот в очередной раз развернулся с сторону Шамана, задрал лапы кверху, будто в огненной кольцо, из лап, влетела, пролетела через него, а на излёте своим сабельным когтем полоснула косолапого по голове, от уха до носа. Рёв смешался с громким трубным хрипом, лапы обхватили окровавленную морду, да к холке медведя уже подлетала Лика...

Сердитый короткий лай Шамана отогнал рысь, не дав ей выцарапать крошечные затемнённые шерстью медвежьих глаз, высмотревшие подраненную кем-то до этого косулю – клиновидная голова дикой козы, коснувшись в последний раз такого же рыжего ствола сосны, на нём и замерла в неподвижности, да большие выразительные глаза смерть оставила открытыми и блестящими будто от слёз; и Марта не зарезала бурого – только начала полосовать его, с морды, а порезала бы до смерти с боков.

И так пять Лун: дуэль с жизнью и за жизнь! И ещё несколько Лун, после, Шаману пришлось зализывать раны. Да только бы: и в небо не запрыгнешь, а там всё то же самое, что и у земли..., и сегодня к тому же – голос из сна, одинаково строгий и нежный.

От Автора.

Совсем рядышком от Шамана, изгибаясь ползучим коричнево-серым ожерельем, проскользнёт гадюка. Только очень скоро она затаится в вересковой пустоши или здесь же, на утёсе, под каким-либо камнем, чтобы убить и лишь после этого уснуть, довольной от освободившего её мучителя-яда. Но вскоре проснётся, отлежавшись неподвижной, с виду безобидной, и лишь на время спрятавшаяся во сне от своего ненасытного мучителя, жизненной энергии: убить, чтобы самой жить дальше.

Шаман догонит гадюку взглядом, и ползучее ожерелье закаменеет тревогой выжидания. В этом, в ожидании понимания своих тревог и страхов, и предсказуема осознающая себя жизнь, да втиснутый в промежуток земного времени и пространства таёжный волк, ползучее ядовитое ожерелье невдалеке от него и смело раскинувший над утёсом крылья коршун, как и такие же повсюду, лишь дышащие жизнью, не осознаваемой, но одинаково коварной и жестокой, вооружены тревожностью как булатным копьём. Не заметил и – напоролся, не увернулся – земля пухом... И такое копьё – Шаман, а встревоживший его голос, ранее – тайга, в нескольких прыжках от него. Вот только, прилетев, как не ранить и, тем более, не пронзить сердце.

Шаман услышит звон топора – лес рубили очень-очень далеко, но и резвящаяся на берегу Марта услышит тоже...

Игла тут же погонит волну впереди себя – так меч-рыба ускорит бег времени, чтобы кесарю ничего не помешало уличить и наказать того, кто, придумав топор когда-то, рубит живое до сих пор, не жалея своих же рук. Но и Шаман не станет их жалеть, потому что ими человек не срубил тогда, давным-давно, дерево, а впервые перерубив его пополам – плаху для себя же и соорудил. Только не понял этого, не постиг того здравым умом, тут коварство в нём и смастерило

гильотину. И, опять же, для него самого, а дальше – больше и изоощрённей в умерщвлении.

Изоощрённей, лукавостью и коварством, человеческий ум, но его сильнее – чувства. Они притягивают, как магнит, искорку мысли и разжигают ею пламя страстности. ...О, страсть, притворная раба, и мысль – клинок, и мысль – отрада!

Мысль без чувства, что лук без тетивы, упруг, прочен как посох, но чувственная мысль и есть тетива страстей человека. ...А стрелы – желания и мечты. Мечта воображением лишь указывает направление полёта, желания – траекторию взлёта и падения, Шаман не желал никому зла и не мог мечтать: душа Станислав обречён на вечный поиск выпущенных умом стрел со зла. Такие летят с умыслом, чтобы очередная голова скатилась с плахи, а голова Шамана – это ещё и охотничий трофей. Для кедрачей, оскорбившихся его условиями соседства – триумф добра над злом, акт справедливости и всё такое. И только для падальщиков чья отрубленная голова, почему и за что – без разницы: ни мысли, никакой, ни чувств, никаких! Но тогда что есть человечья справедливость при том, что хотя бы такая, какая есть, не определена для тайги? ...Да, да, она и всё то, придуманное человеком, и что обрывает жизнь лезвием боли – падальщик из промежутков земного времени и простран-

ства; в них, в промежутках пламени чувств и льда рас-судочности – безумие, себя осознающее, и только се-бя! ...Моя боль больнее, моё горе горше! А всё пото-му, что любая человечесья мысль так же притянет к се-бе какое-либо чувство или какие-либо, да чувствен-ность поработит, личное – особенно. И, скорее, поэто-му – моя боль больнее, моё горе горше – не осознаю-щий себя зверь в человеке.

...Шаман не загрызёт (хотя обещал выгрызать гор-ла!) ворчавшего матерно над кедровым свалом кедр-рача, усыхающего преклонным возрастом, и даже не прокусит ему ладонь. Подслеповатый дед, дыша жаркой усталостью, попросит подсобить – душа Ста-нислаф, открывшись страдальцу от топора, не отка-жет ему в этом.

Прикрытый от вероломства, со спины, Мартой и увлекаемый в глубины таёжных владений Ли-кой, Шаман пробежит много-много километров, во-царя повсюду бесстрашие перед жизнью. И оно, под небо наполнившее тайгу пока ещё только ви-димым и слышимым порывом единения вернопод-данных тайги, грохочущих возбуждённым дыханием и звуками, и единства уже не слепо следовать за сво-им кесарем, расставило всех, друг за другом, в шерен-гу и колонной. ...Армия тайги? ...Да, Армия тайги!..

За гостевым столом из дуба под лаком да под веселящимися на ветру ивами чета Чегазовых и Николаевич ужинали. Ели и пили мужчины, молча – наговорились за день, а Валентина, материнским сердцем прочувствовав что-то мучившее их гостя, с осторожностью молчаливой женщины заглядывала ему в лицо, упрямо дожидаясь при этом ответного взгляда. И не скрывала своего ожидания заговорить с ним об этом, что мучило, приоткрыв в немом вопросе маленький поморщенный рот и проговаривая его продолжительными вздохами. Михаил и видел это, и понимал жену, и виноватым перед ней себя чувствовал и считал, так как зачастил звонками детям, засыпая после претензиями: это им не отослала, а это не собрала... не объясняя такого своего, гнетущего чем-то общим с ней, настроения. Виноватый ещё и потому, что попросил Валерку не рассказывать ей о своём отцовском несчастье – их старшего, Толика, неумолимо сушила какая-то хворь. И хоть он знал какая: без детей нет семьи, а этим, что нет детей, и страдал сын, кому без малого – сорок пять, да Валентину это как раз мало беспокоило. ... У женщины не болит то, чего у неё нет: гордости отца.

Николаевич не слепой тоже, но заговорил с хозяйкой, перед этим поблагодарив за ужин ещё и редкой на лице улыбкой, о том, о чём Михаил ему рассказывал вынужденно, явно с неохотой и чего-то не договаривая при этом. О волке, Шамане, спросил – Валентина оказалась намного словоохотливей мужа, и стало понятно, почему в Кедрах только и го-

ворят об этом таёжном волке. Михаилу этот, оживлённый, разговор был не по нутру – легко понять: как ему, бригадир, обеспечить безопасной работой членов артели?! А волк к тому же не один, и не один раз его пытались пристрелить – только узнал об этом, да вон чем всё обернулось для кедрачей: озеро у них отобрал, тайгу и погрыз рабочих среди бела дня. А поначалу, слушая Валентину и не верилось в то, что от неё услышал – развеселить хочет, подумалось. Да рот Михаилу расстегнули волнение с раздражением тоже, а Николаевич помнил таким приятеля – какие уж тут шутки?!

От утреннего завтрака он отказался, хотя близился полдень, да и Валентина с завтраком переборщила, в смысле – никогда так много не ел, разве что – за целый день. Рассчитывая, что в выходной день застанет председателя поссовета Барчука дома, к нему и направился, уважив перед этим хозяйку: вместе, и не торопясь, попили липового чая.

Контора артели – по пути, но зайти к Михаилу – отнять на себя время, которое приятель и навёрстывал, отказав себе в законном отдыхе. Николаевич прошёл мимо, предугадывая на коротком шагу, зачем он понадобился Владлену Валентиновичу. Мужик страдает от чего-то, причём страдания нескончаемые – вряд ли, показалось. Многолетние, значит, и не о неприятностях на работе, скорее, будет с ним говорить. Только Николаевич ошибся...

...После этических формальностей встречи по договорённости председатель, живой колобок невысказанных чувств

с глубокими залысынами, застёгнутый на все пуговики пижамы, усадил напротив себя Николаевича в одной из комнат опрятного внутри и снаружи дома. И не дав тому время хотя бы покрутить головой, из чистого любопытства, заговорил о Шамане и его коdle. А пересказав ход внеочередной сессии – кашель от выкуренной сигареты (Николаевич предложил свои, «LD») был лишь жутким поначалу. Долго молчал после, нервно и в то же время тревожно мерцая небесного цвета глазами. И, действительно – не показалось: живой колобок кричащих неразделённой болью чувств, очень страдал. Больше чувствуя это, Николаевич не торопил рассказчика, ни видом, ни словом – уважительно и вежливо молчал. В нём жила та же боль, готовая в любой момент заплакать или закричать, или даже заорать рыданиями от беспомощности, да его боль, теперь – от безысходности. А то, что он услышал дальше, прикрыло рот его душе ошеломляющим удивлением: краевого депутата Киру Львовну Верещагину не нашли до сих пор; нашли лишь «Волгу», на которой она выехала из Кедр – в девяти километрах от посёлка.

– Продолжаем искать, надеемся...

Барчук, жестом попросив ещё одну сигарету, продолжил:

– ... Вот я и прошу вас, журналиста, помочь нам ... понять, с чем, а может – с кем, даже так, мы имеем дело. В помощь капитану Волошину, на поиски Верещагиной – это тот капитан, что перебрал у Михаила Дмитриевича в день вашего приезда, – прислали опергруппу. Волошин её из под зем-

ли... – Испугавшись своих слов, председатель прикусил себе язык, заодно, дотянувшись до стола, постучал по тёмной полированной поверхности. – ...Ах, извините: я ведь вам ещё не сообщил – Шаман и его наказал: капитана, а тот – сам бывший «опер», и его упрямство и бойцовская хватка, в хорошем смысле, отмечены правительством...

– Тоже ладонь ему прокусил? – сразу же приступил к уточнению деталей Николаевич.

– Да, ладонь.

Барчук тут же и пересказал, со слов Волошина, его историю «разборки» с Шаманом (к тому же она подтверждалась, пусть и косвенно, выдавшими капитана и на подходе к утёсу, и на самом утёсе, в тот день кедрачами). А став рассказывать о переговорах с Шаманом на противоположном от посёлка берегу, голос его непонятно слабел. И что-то ещё было в его дрожащем дыхании помимо испытанного им тогда страха. Что не ускользнуло и в этот раз от наблюдательного Николаевича.

– ...Я не хочу, чтобы его убили, не хочу, даже не зная – почему, – скорее пожаловался Владлен Валентинович, из коlobка невысказанных чувств, буквально на глазах переродившись в маленько и толстенького живого человечка с плачущими из сердца словами. – Не хочу! Не хочу! Не хочу! – повторил уже не жалуясь, а возражая и грозясь, в том числе и Николаевичу, хотя тот всего лишь его слушал.

– ...Он назвал себя, парень этот, душа...

В этот момент двери в зал приоткрылись, а распахнулись двумя половинками, протяжно скрипнув, от наезда колёс инвалидной коляски – сероглазый юноша, 15—17 лет, кудрявый, но по-современному с коротко остриженными светлыми волосами от затылка, подъехал к Николаевичу. Поздоровавшись узнаваемым – Барчука – голосом, он так и не решился подать незнакомцу свою руку, да тот подал ему свою. Эту довольную, и собой в первую очередь – что тоже мужчина, а отсюда и крепкое рукопожатие от взрослого, – улыбку милого в печали паренька Николаевич, прочувствовав в себе из собственной юности, отдал ему со своего в миг изменившегося до неузнаваемости лица. На нём всё провалилось в глубинную память скорби о Станислафе, и лишь по-прежнему отеческий любящий взор искренне радовался так внешне...подъехавшей к нему жизни. Пусть чужой, пусть в теле на инвалидной коляске, пусть в несчастье, которое эту жизнь к ней приковало, но – жизнь!..

...Так Николаевич познакомился с Митей, с семнадцатилетним единственным сыном Владлена Валентиновича Барчука и этим разгадал его страдания. Своё же, безмерное, но тем не менее острое и тупое страдание, задавил в себе остатками воли и состраданием ...живым отцу с сыном, ... живому сыну с отцом.

На очень большом хозяйственном дворе артели, огороженном искрящейся прочностью стали, или из чего-то под

сталь, изгорюдь, Николаевич набрёл на Михаила.

– Вот смотри, Радомский – друг армейский, до чего я дожил, ... до чего дожил, – раскинув по сторонам руки, запричитал он, знакомо подав челюсть вперёд и только так понастоящему злясь. – Ещё весной здесь негде было яблоку упасть. А ведь было: строительный лес – штабелями под самое небо, а рыбы – мама дорогая..., а кедрового ореха – сейчас больше, правда, но почему? ... Ты не знаешь!

– Знаю! – отчеканил Николаевич, уgomонив звякнувшим претензией голосом в Михаиле раздражение от досады.

– Был у Барчука... – сам себе сказал бригадир, догадавшись, и застыл в позе уродливого креста.

Николаевич подошёл к нему вплотную и опустил ему книзу руки – рано столбить крестом! Удерживая за покатые плечи, лишь понимающе смотрел в озабоченное серьёзными неприятностями лицо состарившегося, как и он сам, друга-танкиста, да гвардеец ефрейтор Чегазов решил всё же извиниться:

– Не хотел я посвящать тебя во всё это. И незачем тебе знать, и не за этим ты сюда, ко мне, добирался – сколько?

– Долго!

Пока шли к конторе, издали похожую на избушку на курьих ножках, только в разы больше, оба пели, не сговариваясь: «На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с разбитой головой».

—

– Пап, ...папа, а Валерий Николаевич к кому из наших приехал? Говорит он и так, и не так, как мы. ...Не из наших он!

Владлен Валентинович, задумавшись, ответил сыну, тем и выбравшись из глубоких и, в основном, неспроста мрачных раздумий:

– К Михаилу Дмитриевичу он приехал, Чегазову – земляки они, украинцы.

– Ты ему о Шамане рассказывал, ...я слышал. Когда ты меня к нему отвезёшь?

– К кому?..

– К Шаману!

– Сынок, Дмитрий, ну что ты такое говоришь?

– Пап, это ты мне ничего о нём не говоришь, но я даже знаю о том, что ты с работы хотел уволиться из-за этого таёжного волка...

Осведомлённость сына только успокоила Барчука – теперь с ним можно поговорить и об отъезде из Кедр. Осенью срок его полномочий, председателя совета поселка, всё равно заканчивается. А осень – уже скоро! Уедут в Москву, и ещё одна попытка поставить парня на ноги – пытка, очередная, да-да-да..., вот только просидеть жизнь в инвалидной коляске – нет, нет, и нет!

– ...Ну, так как, пап, покажешь меня Марте? Может, полоснёт своим чудо-когтем по моим ногам и – после догоню

её, ... догоню, и в морду расцелую.

– Ты и о Марте знаешь?

– Знаю, пап – Игорёша Костромин мне и о душе Станислаф рассказывал. И его тоже хочу увидеть. Ты ведь видел душу Станислаф?

– Видел, как тебя сейчас вижу. Он и говорил тогда с нами, с холма...

– Где маму молния убила?

– Да, там.

– Что он вам сказал?

– А ты знаешь, всё, что он тогда сказал, я помню слово в слово. Уверен, что и Михаил Дмитриевич и Игорёша запомнили также: слово в слово. Эти его слова сначала зажгли во мне желание слушать, чтобы услышать – во, как я заговорил!..

– Да всё путём, пап: я понимаю тебя.

– ... А после этого распалили во мне сомнения относительно себя: таким ли я стал, каким мечтал быть в детстве, и того ли достиг, встроив себя, взрослым, в мир, придуманный не мной и, как я теперь понимаю, для меня тоже, но уже без моей детской мечты. Знаешь, сын, душа Станислаф не говорил об этом, но его монолог я бы, обобщив, сравнил с криком-убеждением в том, что земной мир придуман страхом перед тем, что само побуждало познать эти страхи, а познав их – не видеть страх больше и не слышать. Нигде, ни в ком и ни в чём!..

– Так что он сказал?

– ... «Возвращайтесь в посёлок и сообщите всем, что мы – не ваши боги, не ваши палачи, но и не ваши жертвы! Мы признаем вас как земное живое, чью вселенскую сущность растащили в веках на атомы слепой веры и молекулы инерционного мышления ваши же боги, традиции и светские правила; оттого вас давно нет, а в вас живёт и плодится лишь то, что от вас осталось: живая энергия чувственного раздрая под контролем смерти. И себе вы уже не принадлежите. Вы – заложники установок смерти. ... Себя вы убьёте последними, но вы этого пока ещё не знаете! Как и не осознаёте до сих пор, что, придумав богов и смерть, придумали и Дьявола, а для чего? Себя же и напугали – так он и стал вашей сегодняшней сущностью. Вот его, Дьявола, вы и убьёте в себе, последним и когда-то. А пока вы живёте, продолжая играть со смертью на земное живое, а мы, это земное живое, будем сражаться, потому как вынуждены это делать, за вселенскую жизнь без греха и страданий – и с вами, и с вашими богами». ... Он сказал это: земной мир придуман с испугу! И, рано или поздно, его убьют...

–

В сотне шагов от утёса скорби и печали Михаил остановился.

– Дальше не пойдём! – сказал он, как отрубил. – Подождём. Если Шаман сейчас где-нибудь не гоняет лис и росо-

мах, то скоро покажется – ты его увидишь. ...Давай курнём пока что.

Утёс нависал над озером, бросив куцую тень на берег, и был хорошо виден, взбудоражив Николаевичу воображение. Присев рядом с Михаилом на толстом бревне, в котором хозяин-кедрач (расположились у крайнего дома) вырубил что-то похожее на места для сидения, он видел в скале разное, да то, что он видел на самом деле – куда как приятней и взгляду, и тому же уму. Может, это и неправильно дорисовывать и проговаривать всяко саму Природу, и от этого, может, люди больше берегут искусство от Природы, нежели её саму, подлинную. Наверное, это так: когда-то всё же убьют окончательно, а прослезятся на живописные картины и подобное о ней и про неё. Себе же и простят, что не доглядели, да что теперь виниться, – отошла Матушка-то!..

– А лис почему гоняет, и этих?..

– Росомах, – помог Николаевичу Михаил с названием зверя, – и не только их одних. Не знаю, правда или нет, но у нас поговаривают, что Шаман не питается мясом. Зырик – Матвей Сидоркин, я тебя с ним как-нибудь сведу и познакомлю, да и самому мне этот доморощенный Моисей нужен, так вот – говорил, что тот одну воду пьёт. А Марта, белая волчица, и рысь Лика – эти охотятся, но так, чтобы Шаман не видел...

Губы Николаевича распрямило неверие, отчего усы стали шире, а бородка длиннее, Михаил это заметил и правильно

истолковал перемены в лице:

– ...Это от Моисея, ...тьфу ты – Матвей Сидоркин мне об этом рассказывал. Понятно?!

– А сам, что думаешь?

– Перед твоим приездом я был в тайге, находил, смотрел и помечал для себя свалы деревьев. Я же тебе говорил – пилить нельзя, рубить нельзя!.. А протопав к ручью, чтоб освежиться – такого я ещё не видел. ...Вдоль ручья, по обе стороны, зверьё лакает воду, а его, этого зверья – ряды от тех, кто уже пил. Напились одни – подбежали и стали лакать другие, эти напились – очередная шеренга, а края её и рассмотреть невозможно. И Шаман там был, и он меня, зараза, унюхал – ноздри на его длинной морде так раздулись тогда, так раздулись, ...унюхал чертяка! Пролаял что-то, я сразу же – назад, а под жопой уже рысь, и мяукает, и гарчит – жуть! ... Да, забыл сказать: а птиц, а птиц! Кругом: на ветвях, в траве, в полёте кружат: света белого не видно. А горлица из под Шамана – сидел он на задних лапах, как впрочем всегда, – вылетала горящим углем: каёмки перьев от спины и на крыльях рыжие, как огонь, и поднималась в небо, завидев ястреба или какую-другую хищную птицу. Я же говорю тебе – чудеса в решете: так драпали от неё, так драпали! А кого догоняла, не могли те с ней совладать, как не пытались – птичка невеличка оказывалась сверху и долбила их бошки. Отдолбила – к Шаману снова, затаилась рядом.

Валера, я зверя таёжного знаю в лицо, ...ну, морды их

знаю не хуже, чем мужиков из артели, потому меня и здорово изумило и напрягло, что лишь один хищник был среди всех, кого я видел там, у ручья. Это рысь Лика... под моей старой жопой, а Шамана, ... Шаман – это не зверь. ... А вот и он – гляди.

Шаман прочертив тёмный шлейф на краю утёса, исчез, показался снова – и так несколько раз.

– Что-то с ним не так, – предположил Михаил – круги по плато нарезает, видишь? Обычно между теми двумя камнями усаживается, как мы говорим «попиком» – Матвей Сидоркин его так окрестил, и в таком положении, опустив голову и не шевелясь, сидит по нескольку часов. Если залает, тогда одно из трёх: или Марта, сестра его, примчится, или Лика – я тебе о взрослой рыси уже говорил, или вызовет к себе литовку Эгле...

Николаевич перевёл взгляд...

– ... Про них я тебе тоже расскажу, ... это литовская семья, их трое – расскажу, позже...

Михаил не договорил, из глубина плато прогремел лай.

Не прошло и пяти минут, как отбасил Шаман, а Матвей Сидоркин, пряча в карманах брюк руки и откинув привычно сухие плечи назад, пылил расхоженной кедрачами тропой в их сторону. Николаевичу было без дела, кто к ним подходил и зачем – Шаман восседал на краю плато, как и говорил до этого Михаил: между двумя поблёскивающими на солнце камнями, на задних лапах, опустив голову. Открытыми бы-

ли его глаза или закрытыми, определить – вряд ли: далеко-вато, да что-то надавило на грудь, и Николаевичу вспомнились слова Барчука: «Взгляд у волка не каменный, а тяжёлый от разговора с самим собой после – душу им настезь открывает!». Если и так, у души отца, похоронившего сына нет ни двери, ни окон. Последняя зима Станислафа не заморозила в ней оглушающий крик боли, а лето выжигает на сердце, опять же, болью. ...Ну вот: не ошибся Владлен Валентинович и не соврал о взгляде Шамана.

На быстром шаге подошёл Матвей. Михаил, не церемонясь, спросил:

– Шпионить пришёл?!

Матвей закатил блеклые глаза.

– Ты это о чём, бугор? – спросил, подавая ему руку для приветствия: сегодня не виделись.

Внимание Николаевича и впрямь было приковано к утёсу – волков видел лишь на картинках и по телевизору, а тут – сибирский таёжный волк, в живую да какой! Такой зверь подчинит уже тем, что, увидев его, не забудешь – это точно, а думать о нём будешь с придыханием и долго.

– Валера, знакомься – Матвей, я тебе о нём говорил: Моисей доморощенный. А стал таким после того, как не холме, на том берегу Подковы, напоролся на Шамана. ...Мозги он ему включил – сам так говорит, всем. ...Не переврал, Зырик, ведь говоришь так?!

Матвей будто бы и не слышал этих слов Михаила.

«Такой же, жизнью высушенный, как и он сам», – подумал Николаевич. Пожали друг другу руки, молча.

– Откуда-зачем? – просипел «доморощенный святой», и словно пытливым взглядом подпёр Николаевичу веки, чтоб даже не моргнул, отвечая.

Ответил Михаил:

– Передай радистке Кэт – Эгле, значит, что друг мой, армейский, у меня гостит, с Украины. Хотя – сам скажу: Апу Валерке покажешь?

Все трое направились к дому Йонаса, а «Валерка» пылил тропинкой последним, поглядывая в сторону утёса и не гадая над тем, кто такая «Апа» – сейчас узнает.

—

Шаман снова услышал голос из своего единственного сна: одинаково строгий и нежный. И этот голос не отпускал кесаря тем, что он ему не снился. А ещё в сухонькие плечи незнакомца напомнили о кресте на могиле Кати – кто он, этот сутулый и длинноволосый человек?

Белым комом подкатилась Марта – горлица засекала двух волков, убивших косулю и пожиравших её, от слепой жадности раз за разом набрасываясь одни на другого; Лика уже – рядом, и отрезала им путь для отступления.

...К пирующим и всё ещё скалящимся друг на друга волкам Шаман и Марта подходили с двух сторон. Сороки трещали, слажено и громко, отовсюду, а иные подлетали к выпо-

трошенной тушке, оранжевой от цвета шерсти и крови, совсем близко, и раздражая серых разбойников своим присутствием, и отвлекая, что было важнее. В пяти прыжках затаилась в пушице и изготовилась атаковать Лика, Марта также ждала на это команду от брата, но Шаман на лёгких ногах-лапицах вышел к серым разбойникам сам, да так гаркнул им в окровавленные морды, что рык кесаря опрокинул обоих на спины. Так они и лежали, один подле другого, не смея открыть глаза, с задранными кверху задними лапами и, безвольно прижимая к груди передние, ссали друг на друга, а потом и – под себя.

...Марта ворчала и покусывала на ходу брата за холку, за то, что тот не позволил ей вспороть когтем пленённым волкам хотя бы их набитые мясом молодой косули брюшины. Шаман сначала уворачивался, семена за пленниками, а вскоре и вовсе перестал обращать внимание на раздосадованную сестру.

От Автора.

У холма с обгорелым остовом осины остановятся. Зверьё и птиц не нужно будет и звать – прибегут и прилетят достаточно для того, чтобы весть о первых пленниках, совершивших убийство и не сумевших сбежать, разлетелась и разбежалась; при том, что тайгой протекает ручей с животворящей водой и она, эта вода, давшая всему живому жизнь, не жалеет себя ни

для кого: она, и только она одна, даёт силы жить в свете Солнца, а не в тьме рыскающей повсюду земной смерти.

Смерть придумали люди (об этом уже говорилось), но и они же, не случайно ведь, не только верят в лучшую жизнь на небесах, а пишут о ней, рисуют её, воссоздают на сценических площадках – постоянно и неустанно мечтают о своей следующей жизни! ... А всё начинается с мечты и ею же заканчивается. Значит, эту мечту нужно осуществить. Но как это сделать, если только не всем миром: осознающими себя и не осознающими. ...Земное время – по-прежнему смерть, а земное пространство – по-прежнему кладбище. И выходит на то, что Человек – земной БОГ – обманут временем и как младенца его до сих пор спеленало пространство. Выходит, что из земного времени нужно, как можно быстрее, выбраться, а из пространства – как можно дальше. И это «быстрее» и «дальше» – за облаками. И кто знает: может, там, за облаками, боль – кровь зла, обрушит в каждом из нас уничтожающую страданиями чувственность, а лукавство и коварство ума, как ни что другое, проложит таки путь в бесконечность вселенской жизни.

В сопровождении Лики, со стороны берега, в цвете

которого временами будет растворяться рысь, к холму подойдут Йонас, Эгле, Агне и Матвей. Это испугнёт зверей, всполошит птиц, но короткий властный лай Шамана всех успокоит. Только Матвея будет тряссти дрожь, с рябого лица сползать градинами волнение, а напуганные увиденным серые глаза потемнеют от удушливого ужаса. Он спрячется за большой спиной Йонаса, заложившего руки в бока, и из-за него, в треугольный просвет, будет глазеть на невероятную жизнь, всё больше и больше цепenea от растущего изумления, и всё так же, нервно, дрожать.

Облака закроют покотившееся к закату солнце, тени разбегутся во все стороны и вечерние сумерки станут гуще, приликая ко всему и ко всем. Шаман взбежит на холм и растворится в душистом безмолвии тайги – душа Станислаф, скользя по траве, спустится с холма. С добрым, открытым для всего и всех лицом, но не с добрым взглядом. Взгляд, лёд и огонь, но лишь для двух волков, скулящих о пощаде. Неразумные, но с клыками от смерти, понять они не смогут, что оказались во власти суда тайги, да что-то же в них умоляюще жалостью скулило о пощаде и что-то ведь скомкало их упругие пружинистые тела человеческим страхом? И душа Станислаф будет думать об этом и долго-долго молчать. Потому ещё, что будет знать, чего хотят сбежавшиеся к холму звери и сле-

тевщиеся птицы, да этого он сам как раз и не хочет. Не хочет он и того, что будет видеть и глазами кедрачей за его спиной, не знающих себя, но уже без грызущей мысли о смерти: к волкам будут подлетать осмелевшие птицы и гадить, причём прицельно, на их морды, подбегать косули и бить копытами ни куда-нибудь, а по головам, здоровенный богатый на рога лось, трубя раскатистым стоном, этими же, коралловыми рогами, будет давить и стонать давить и стонать... Но душа Станислаф не позволит сохатому убить, потому что смерть – она же и притвора справедливого возмездия. Ни слова не проронив, он направится к ручью. За ним последую все, но даже птицы не полетят впереди.

Лица и Марта, оскалившись, поставят на лапы униженных птичьим дерьмом волков, избитых копытами и исколотых рогами, а у ручья урчащим шипением и подгоняющим ворчанием отгонят к душе Станислаф. Он заставит их пить, и воду лакать они будут до тех пор, покуда обоих не вырвет ...кусками плоти убитой ими косули. И только после этого скажет всем: «Капля воды, в годах падая в одно и то же место, пробивает путь, ручьи его промывают, реки – удлиняют и ускоряют, озёра, моря и океаны – расширяют. Я спрашиваю себя и вас: зачем вода это делает, и ей ли нужен этот путь, стремнины жизненной энергии? Я –

не знаю, ...не знаю наверняка, а прав ли я, предположив, что вода долбит, размывает, удлиняет, ускоряя саму себя и заполняя собой всё, что только можно заполнить, чтобы пробиться, дотянуться и обнять бескрайними горизонтами любую и всякую земную жизнь?! ...Не знаю: я ли это всё произношу, но ведь что-то во мне это проговаривает и не с проста, уверен...

Душа Станислаф продолжит говорить, будоража самого себя, зверей, птиц, перешагивая с места на место: вперёд – назад, вправо – влево, жестами рук с длинными цепкими пальцами отодвигая от себя вечерние сумерки; будет обращаться к земле – густые тёмные волосы просыплются на его высокий лоб, заговорит с небом, покрикивая даже – они просыплются назад, кончиками чёлки – почти к плечам, открыв небесам юное человечье лицо, но уже души ...под именем «Станислаф». Лицо, которое в прежней, совсем коротенькой земной, жизни расцеловывала мамуля, зеленоглазая Лиза, до воскового блеска, и краше которого и дороже которого – не видела, не знала, не хотела, а редко улыбающийся папуля, Валерий Николаевич, вглядывался в него и не мог им насмотреться-налюбоваться.

Только Душа этого ничего уже не будет помнить. Воображая, он будет бродить воспоминаниями,

в основном, об Азовском море: бирюзовое, сплошь из шелковистых волн и пенящихся довольным хохотом, набежав на бетонный пирс. Но Геническ, городской пляж «Детский», это – гуляя памятью, а в промежутке земного времени и пространства он – таёжный волк Шаман, и сейчас ему, душе Станислаф, нужно было решать, как правильно поступить с двумя пленёнными волками. Этого не только будет ждать тайга – голосить будет, стонами и рёвом, писком и щебетом: решай кесарь, или отдай разбойников нам! Для себя Душа это решит давно, ещё у холма, да предстояло решить за всех. Наконец он успокоит ноги, остановившись у воняющих страхом волков, успокоит руки, сунув левую в накладной карман на джинсах, сзади, подняв кверху правую, и скажет Йонасу, Эгле, Агне и Матвею таким же успокоившимся от уверенности голосом, а таёжникам с копытами, с хвостами, с проворными клювами это же самое скажет шумом ручья: серые разбойники будут жить, но с этой минуты они – волки ...на волков!

...Человек – на человека? Нет, хотя среди людей охота на самоё себя стало и узаконенной нормой, и обыденностью. Волки – на волков, – совсем иное: за себя – против себя! Клыки – на клыки! ...Так, оскалившись злом, оно разгрызает себя само.

Загулявший ветерок, всё ещё шая в листве берёз, сам того не зная, вернул Шаману голос из его сна и возмущенное мяуканье Апы, наконец-то, крепко ставшей на лапы. Конечно, это незнакомый ей голос возмутил, потревожив интонациями строгости, вместе с тем и нежности. А Шамана этот человеческий звук влёл, словно близость ручья. Лёжа между камней и положив голову на передние лапы, он вздрагивал от чего-то беспокойного в нём, но дышал тихо-тихо, чтобы не отогнать от себя тот самый, загулявший, ветерок с подарком: голосом незнакомца.

Ночь ещё не пришла, а вечер уже уходил пугливыми шорохами, то поглядывая на утёс пролетавшей мимо чубатой птахой, то оглядываясь на него издалека кабаньей тропы. Внизу темнела Подкова, от чернильной глубины и сумрачной прохлады.

Глава вторая. Пожар от огня в сердце

Торопясь на причал, капитан Волошин добавлял в шаг. Здесь с ним предварительно условились встретиться и обговорить что делать с кодлой Шамана, работники артели. Не все, но кому осточертела придурь волка и его, тем более, безнаказанная агрессия на протяжении лета: лесорубы, охотники и рыбаки. Кормились-то, в основном, из тайги и Подковы, да два квартала подряд – без заработка, а без денежных знаков полгода – уж нет! И у Волошина – забот полон рот, ко всему ещё и краевой депутат Верещагина будто сквозь землю провалилась, потому и опаздывал на встречу, что на всё отделение полиции остались – он и дежурный, и пошла вторая неделя. Весь личный состав ищет депутатшу, с рассвета и до заката, и пятеро прибывших из краевого управления «следопытов», что называется, роют землю, но не нашли покамest ни её саму, ни хотя бы что-нибудь ...от неё.

Завидев капитана, собравшиеся на причале кедрачи только возбудились больше, да Волошин, подходя к ним, тут же приложил палец к губам – мужики враз вспомнили про рысь Лику и – по сторонам головами. Иглу тоже никто поблизости не увидел, но капитан увёл всех под широкий навес лодочной станции. ...Говорили тихо, не позволяя лишних эмо-

ций – разошлись не раньше через два часа.

... Тимофей Пескарь, звякнув о пол двумя бутылками пива, таким образом сообщил супруге и дочери, что пришёл с работы. Оксана не вышла из своей комнаты, а перекошенная и сгорбленная от разбившего тело радикулита Нина Сергеевна, сдержанно ойкая, вышла к мужу в прихожую.

– Не вставала бы, – сказал на это Тимофей.

Присев на кухне к столу, о край откупорил одну бутылку, извинился перед женой за дурную привычку, и выпил пол литра пива за один присест. И тут же спросил про Оксану:

– Всё то же самое?..

Нина Сергеевна ответила грустными глазами: да!

– Может, тебе с Игорем поговорить, – предложила осторожно, но и засомневалась тут же в том, что предложила мужу, а ещё больше в результате его разговора с Костроминим: – Извини, сама – вся на нервах, и спина ещё... .. Что? Встретились с Волошиным, решили что-нибудь?

Тимофей, закурив и пуская себе в ноги голубоватый дымок, лениво рассказал о том, о чём договорились сегодня на причале: поблизости от Игнатовки староверы видели волков и, похоже, что это стая Лиса там обжилась, вот его и погонят оттуда на Кедровые и тогда Шаману несдобровать..., а Иглу выманят на мель – это далеко отсюда, но есть такое коварное местечко в озере, там дурную рыбину и прикончат.

– Пойду к Оксане! – помолчав, проговорил, вроде, как

с нетерпением: дочь – куда как важнее.

Оксана отцу улыбнулась, а взгляд – заплаканный и потухший. Оба молчали, но думали об одном и том же. Вернее – об Игорёше Костромине думали, и им оба мучились. Оба понимали – никакие слова не помогут, хоть заговори сладостным утешением скучный и тягостный вечер, ночь безликую и даже унылый рассвет. (Тимофей стал отцом Оксаны без любви в сердце, только рождение дочери, если и не остепенило в нём ловеласа, то уж точно никого в себя и не впустило. Отцовским его сердце стало с рождением Оксаны, и только отцовским. Потому сейчас и болело и изводило её же любовными переживаниями, как до этого радовалось всем тем, что красавицу-дочь обрисовывало день за днём, год за годом девичьем счастьем. И он был от этого счастлив, и сейчас по-настоящему счастлив, только оно, отцовское, хотя материнское тоже, пожалуй – не радуга в небе. А Игорёшу он понимал: или не любил его Оксану вовсе – к их общему теперь, с дочерью, несчастью, или разлюбил, поэтому и не осуждал – так часто бывает, ... к сожалению. Но злость в нём была – заморочил сучёнок девке голову, только и того, что любому сердцу, известно, не прикажешь...)

– Да гори они все, доченька! – произнёс Тимофей одержимо и вышел.

– Что, ...что ты сказал, папа? – услышал уже из-за двери Оксану.

– Гори они, ...все, ...ярким пламенем! – ответил он, ещё

и сплюнул в сердцах.

...Требовательный стук в окно разбудил Тимофея, а истошные крики: «Пожар!», будто отовсюду, поставили его на ноги. Выбежав на крыльцо, сразу же увидел, где горит: горел дом Йонаса Кавальяускаса. Кедрачи, кто в чём, с дороги гремели вёдрами и, подгоняя друг друга одним и тем же, командным, окриком «Быстрее!» бежали к утёсу. Схватив лопату – первое, что попало Тимофею на глаза – он, в пижаме и босой, сбежал с крыльца и точно с перепугу перемахнул через изгородь.

Пожарище прожигало небо, забрасывая в него земные звёзды – искры огня. Дом литовцев, из соснового сруба, горел со всех сторон. Кедрачей сбежалось много, но потушить – поздно, да и нечем. Воду носили от близлежащих домов, а это неблизко, прибежавшие с лопатами лихорадочно раскапывали двор, забрасывая пламя песком, а большому огню песок с лопаты – что мёртвому припарка!

Тимофей стал делать то же самое – ну, не стоять же столбом, не переставая при этом спрашивать: «Хозяева – в доме, или успели выйти?!». Его никто не слышал и не услышал – треск пламени заглушил даже горластую суматоху. Но крик его, об этом же, услышали те, о ком он спрашивал – над самым ухом промычал что-то Йонас, а рядом с ним бурное волнение трясло Эгле. Завёрнутая в клетчатый плет, она походила на скомканную страницу из школьной тетради, про-

жжённую в нескольких местах, а бахрома, от плеча до ног, тлела красной линией, дымясь. Подбежавший с ведром Матвей, выплеснул на неё воду. Эгле от этого пришла в себя, задышала, глубоко и порывисто, будто до этого и не дышала вовсе, и пылающую огнём и заревами ночь оглушил её бабий материнский крик: «Агне!». И она тут же лишилась чувств. Йонас бросился к ней, и его обожжённые руки приняли Эгле то ли в объятия такого же пожарища, как у него за спиной, но пожарища его любви, то ли сама эта любовь, поставив на колени перед собой, проговорила из него голосом отнюдь не немного переживания: «Эгле, любимая!.. Эгле!».

Михаил с Николаевичем только-только подбежали, и оба слышали «Агне!» в крике Эгле, и произнесённые Йонасом слова. Но времени для удивления, что оба заговорили, не было. Николаевич, перекрикивая шум и гам, спросил о пожарных, Михаил ответил ему, что когда-то были такие, да сплыли, а имея представление о бюджетном финансировании, стало понятно – ликвидировали в Кедрах пожарное подразделение. Подхватив с земли вёдра – Михаил и Йонас в это время уносили Эгле подальше, вглубь двора, – он кинулся вслед кедрочкам, тоже с вёдрами, к близлежащим домам.

Ужас от понятого всеми, и сразу – Агне в доме! – ещё какое-то время бросал кедрочек, бездумно и опрометчиво, на пламя, но пламя, пожирая пространство, увеличивало его для себя, отгоняя тем самым кедрочек всё дальше и дальше от дома, горевшего свечой. И дыма почти не было. Дом

стал сердцем пожарища, пленив неуёмностью огненной стихии Агне – чудо, если она ещё жива!

Тимофей с мужиками, побросав лопаты и вёдра, уже больше боролись за жизнь Игорёши Костромина, а тот полуголый и весь бордовый от ожогов продолжал бросаться на огонь, отнявший у него все-все рассветы, какие ещё только могли быть в его жизни. С недавна этими рассветами для него стала Агне, и он ни чуточку не ослаб от борьбы и отчаяния, наоборот, зверел решимостью пробиться к ней во что бы то ни стало. Ведь она – в доме, который со всех четырёх сторон обложил огонь, и жива, конечно. Видел крыльцо – то, что от него осталось, и на него ступить, если у него это получится – самоубийство, понимал это закипавшими мозгами также, и что шанс, остаться с ней, по-настоящему любимой – его шанс, и он единственный и последний. В очередной раз раскидав мужиков по сторонам, Игорёша, заорав что было сил в жестяное небо, шагнул в огонь, ...но из огня его тут же вышиб Шаман, а Агне израненной дымящейся птицей упала ему на грудь.

Шаман горел от ушей до хвоста, а приземлившись на лапы, сразу завалился на бок и, перекатываясь, так сбивал с себя огонь. Кедрачи буквально остолбенели – живой факел, вылетевший из пожарища, тушил сам себя. К этому моменту все собрались в одном месте, рядом, и будто по команде шагнули к волку. Но угрожающий рык за их спинами остановил всех вмиг – Марта не пугала, а не доверяла кедр-

чам. Как и сам Шаман, тут же вскочивший на лапы и оскандившийся. Лица напомнила о себе бряцаньем покотившегося ведра и кошачьим гортанным урчанием, но рысь никто так и не увидел. Увидели горлицу, искрой с неба подлетевшую к Шаману – резкие удары крыльев сбивали с волка огонь, а перья тлели и дымились...

...Возвращаясь домой, Тимофей думал о том, что в какой-то момент там, на пожарище, ему показалось, а может – и нет, что он видел свою Оксану. ...Показалось! И чужеземцев, прибалтов – хорошо, что только погорельцы, – немота отпустила. А Шаман-то, каков?!.. На язык Тимофею прилипло слово «гусь», но он это слово так и не произнёс. И в Игнатовку, гнать на него зверя, он с мужиками не пойдёт – так он решил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.